

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

# МОЙ МИЛОШ



**R**  
BALANCE

Наталья Горбаневская

**Мой Милош**

«Новое издательство»

2012

## **Горбаневская Н. Е.**

Мой Милош / Н. Е. Горбаневская — «Новое издательство», 2012

Сборник «Мой Милош» – плод тридцатилетней работы Натальи Горбаневской над текстами Чеслова Милоша. В него включены переводы поэзии и публицистики нобелевского лауреата, а также статьи о нем – самой Горбаневской и нескольких польских авторов.

© Горбаневская Н. Е., 2012

© Новое издательство, 2012

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Вместо предисловия                | 5  |
| Есть ли у нас русский Милош?      | 7  |
| Особый поэт                       | 8  |
| Мой Милош                         | 9  |
| Большой формат                    | 11 |
| Поэтический трактат               | 11 |
| Вступление                        | 11 |
| I. Прекрасная эпоха               | 11 |
| II. Столица                       | 15 |
| III. Дух истории                  | 23 |
| IV. Природа                       | 32 |
| Ода                               | 38 |
| Приложения                        | 42 |
| «Речь – Отчизна...»               | 42 |
| Не трактат, а трактат в стихах... | 44 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 46 |

# Наталья Горбаневская

## Мой Милош

### Вместо предисловия

### Человек-эпоха

### *Памяти Чеслава Милоша*

Лет семь назад Александр Фьют, один из самых пристальных исследователей творчества Чеслава Милоша, писал – на примере одной книги, но это можно распространить и на другие – о роли личной, индивидуальной биографии Милоша как материала его поэзии: «Ее [биографию поэта] можно воспринимать как особенно поразительный и осязаемый урок случайности человеческой судьбы, урок, который дала в XX веке история одному из жителей Центральной Европы. Одновременно это трудно охватываемая сумма опыта, наблюдений, мыслей, воспоминаний, составляющая любую отдельную жизнь, которая в данном случае обнимает почти целую эпоху».

Сейчас, когда эта жизнь закончилась, я убрала бы «почти»: она обняла действительно целую эпоху, начавшись накануне «настоящего двадцатого века» и закончившись уже в XXI, в первые годы новой эпохи (начало которой мы можем отсчитывать от 11 сентября 2001-го). А кроме того я сказала бы, что Милош – весь: и жизнь, и творчество – не столько «обнял», сколько вместил всю эту эпоху, вобрал ее в себя, стал своей эпохой, со всеми ее историческими, социальными, культурными зигзагами. Не скажу: со всеми заблуждениями – не со всеми, но на свои и чужие заблуждения XX века Милош смотрел равно пронизательно и зорко, равно безжалостно.

Рецензируя в 1990 году в «Континенте» книгу прозы (если угодно, сборник эссе) Милоша «Год охотника», я отмечала, что автор говорит в ней вещи, которые могут «вызвать возмущение польских националистов, даже в том благородном случае, когда они называются просто патриотами», – например, напоминает, что Западные земли (или, как они назывались в ПНР, Обретенные земли) были получены в подарок от Сталина, подарок, предназначенный, разумеется, не кому иному (не свободно избранному парламенту, например), а коммунистическому режиму. «Национализмы моей части Европы весьма патологичны, – писал Милош в этой книге. – Я не могу доверять мысли, порожденной унижением и попытками побежденных найти утешение».

Но, жестко оценивая настоящее своей страны, Милош не идеализировал и ее прошлое. В конце 90-х он выпустил книгу «Экспедиция в Двадцатилетие» (имеется в виду межвоенное двадцатилетие, счастливые годы польской независимости после полутора веков жизни под гнетом трех держав-захватчиц). Польский критик Хелена Заворская, рецензируя книгу, пишет:

...свежеобретенная свобода оказалась грузом, который трудно было нести людям, имевшим боевой опыт, но не умевшим управлять современным государством. <...> Грезившаяся целым поколениям «заря свободы» преображалась в зарева всё новых войн и погромов. Мы предпочитаем об этом не помнить, но Милош в своей книге неуступчив, он напоминает самые щекотливые, жестокие, глупые дела. Он не говорит с нами осторожно и умильно. И никакого утешения не доставит нам тот факт, что сегодняшние затруднения со свободой напоминают былые поражения.

Да, Милош и с годами не стал «осторожнее и умильнее», говоря со своими соотечественниками, и если говорить о милошевском уроке, то такой разговор может принести пользу не только «жителям Центральной Европы».

## Есть ли у нас русский Милош?

Милош сегодня в России известен – и неизвестен. Первой книгой Милоша по-русски был «Поэтический трактат» в моем переводе и с моими примечаниями, изданный в «Ардисе» (Анн-Арбор) в 1982 году. В 1993 году в издательстве «Вахазар» вышел сборник «Так мало и другие стихотворения», включивший стихи начиная с 30-х годов. Милошу вместе с Томасом Венцловой было посвящено «досье» в «Старом литературном обозрении» (2001, №1), там же приведена его библиография, включающая переводы на русский. На первый взгляд, она выглядит внушительно, хотя сегодня к ней надо прибавить хотя бы переводы Британишского из вышедшей в 2002 году его и Натальи Астафьевой антологии польской поэзии, его же перевод знаменитой книги «Порабощенный разум», изданный годом позже (точнее, впрочем, как мы уже не раз отмечали, было бы перевести «Порабощенный ум»), и еще ряд публикаций 2000-х. И все-таки в сравнении с объемом написанного Милошем – «так мало»! Нередко переводится одно и то же: так, кроме моего (первого) перевода «Кампо ди Фьори» это стихотворение перевели Михаил Крепс и опять-таки Британишский; после «Зачарованного Гути» в книге, составленной Андреем Базилевским, появился другой перевод того же стихотворения под дважды неверным названием «Очарованный Гучо». Хорошо соревноваться переводчикам на одних и тех же стихах, когда поэт по-русски уже всерьез существует. Увы, осмелюсь сказать, что Милош по-русски существует только в самом первом приближении. Кроме того его надо было бы переводить не отдельными стихами, не подборками разных лет, а книгами; в большинстве его сборников верлибры перемежаются белыми и «почти белыми» стихами, чистой прозой и тем, что можно было бы назвать стихотворениями в прозе (если бы этот термин не был напрочь скомпрометирован Тургеневым), переводами иноязычных (англо-американских, ближне- и дальневосточных) стихов, выписками из исторических документов Великого Княжества Литовского и т. п. Пока что целиком переведена лишь одна книга, из недавних, – «Придорожная собачонка», и то, как я заметила, русские рецензенты (кроме Ксении Старосельской) с ней не разобрались, считая, что все, напечатанное в ней не в столбик, – это «эссе».

Милош много писал в последние годы – и на девятом, и на десятом десятке лет. 14 августа подвело черту под его творчеством. Русским издателям и переводчикам пора обратиться к нему пошире и поглубже – и к книгам его стихов, от первых до последних, и к книгам его эссе (которые опять-таки собираются в книгу не случайно, а по-русски пока существуют лишь в распыленном виде), и к его замечательной повести о детстве среди дикой литовской природы «Долина Иссы», и к тому, что написано о Милоше его соотечественниками<sup>1</sup>. Может быть, тогда мы воистину оценим совсем особый дар Чеслава Милоша, его совсем особую погоню за реальностью.

«...в конечном счете я бы сказал, что цель, которую я преследую, – это реальность. Погоня за реальностью», – ответил Милош на вопрос Бродского, чего он стремится «достичь в поэзии, в литературном творчестве». Немодный ответ. Сегодня – особенно немодный. Но очень нужный – то есть очень нужно то, что за ним стоит, та реальность, за которой гонится, которую нагоняет Чеслав Милош в своих стихах, прозе, эссе и многочисленных промежуточных формах, выходящих за пределы собственно прозы и собственно стихов.

---

<sup>1</sup> Это написано сразу после смерти Милоша. С тех пор, особенно за нынешний, Милошевский год, издано и переиздано немало. В частности, вышла «Родная Европа», готовится к выходу «Долина Иссы». Однако по-прежнему недостаточным остается переведенный корпус как стихов, так и публицистики Милоша. Надо надеяться, что страсть переводчиков и издателей не остынет в ближайшие, послеюбилейные годы. – НГ-2011.

## Особый поэт

Тут самое место вернуться к поэтическим книгам Милоша. В свое время я писала о сочинении Милоша «Особая тетрадь: Звезда Полюнь» («Культура», Париж, 1980, №11):

Трудно назвать это просто стихами – для этого у «Особой тетради» слишком сложная, смешанная форма. (Вспоминаются более ранние строки Милоша: «Вечно стремился я к форме более емкой, / что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой...») Но, несомненно, это сочинение поэта Милоша, а не прозаика или эссеиста. Предположительный генезис этого произведения (впрочем, рискуя ошибиться) можно вывести из того, что двумя номерами раньше в той же «Культуре» было напечатано стихотворение «Звезда Полюнь». В новом тексте эти четыре четверостишия, рифмованные, почти классического склада, стали лишь завершающим ударным аккордом в стремительном, почти кинематографическом чередовании верлибров, белых стихов и кусков, написанных «просто прозой», нанизанных на воспоминание (не вос-) литовского детства и пронизанных видением судьбы человека на Земле, «крещенного на восходе Звезды Полюнь» и с младенчества несущего непрошенный груз времени и безвременья.

Замечу, что составители содержания журнала «Континент» (№100, 1999), поставив после названия пометку «Эс.», то есть эссе, явно ошиблись в жанре.

Такая форма (или жанр) появляется у Милоша по крайней мере с 70-х, со сборника «Где восходит солнце и куда закатывается». Но рецензенты и критики очередных книг Чеслава Милоша как будто никак не могут к этому привыкнуть. Кого ни возьмешь – у каждого в тех или иных словах встретишь удивление: какая необычайная, ни на что не похожая книга! Да и верно: друг на друга они тоже непохожи, так что привыкнуть не удастся. И кто ни примется за исследование поэтики Милоша, обязательно отметит, что поэт выходит за пределы стиха и прозы – или, в других терминах, стирает границу между ними. На примере публикуемых в этом номере журнала переводов из книги «Хроники» вы лишь отчасти, но все-таки увидите эту его особенность, точнее говоря особость.

Всё его творчество – особая, отдельная, не «общая» тетрадь. Но душа человеческая (в данном случае читательская) – тоже дело особое, и только на подлинно особое она откликается. Можно вспомнить портреты поэтов в «Поэтическом трактате»: сам Милош видит их – и несколькими строчками о каждом передает нам свое восприятие – как поэтов особых, отдельных, как крайне разноголосые инструменты оркестра польской поэзии. Так и Милоша мы видим, слышим, читаем как особый инструмент – огромного, впрочем, диапазона, органного что ли...



## Мой Милош

Без воспоминаний о встречах, знакомстве, дружеских отношениях сегодня тоже, конечно, не обойтись. Впрочем, знакомство знакомством, а сначала мы встретились заочно. В 1973 году я получила в Москве дошедший из Калифорнии том «Стихи» (Лондон, 1967). С 1953 года все новые сборники стихов Милоша (как и его проза, и эссе, и переводы) выходили в «Институте литерацком», книжном издательстве парижской «Культуры». Но, конечно, Милош предпочел не отправлять через границу, даже с оказией, одно из этих подрывных изданий. На книге надпись: «Коллеге [по-польски слово женского рода – «колежанке»] Горбаневской с дружбой. 20.II.73. Чеслав Милош».

Вживе мы с Милошем встретились в сентябре 1976 года, на организованной парижскими поляками и венграми конференции «1956—1976», в которой участвовали и французы, и выходцы из других, кроме Польши и Венгрии, стран Центральной и Восточной Европы, включая и автора этих строк (с докладом «Самиздат – школа свободы»). И встречались после этого многократно, чаще всего на вечерах Милоша, которые устраивал парижский религиозный «Центр диалога» во главе с незабвенным ксендзом Юзефом Садзиком, тем самым, кто побудил Милоша переводить Библию (об этом Милош пишет, в частности, в своей статье «Над переводом Книги Иова» – см. «Континент» № 29, 1981 [с. 212 наст. изд.]).

Особенно интенсивным стало наше общение, когда я переводила «Поэтический трактат». Всё новые и новые получерновые редакции перевода я отправляла в Беркли и получала подробные замечания, после чего правила текст и снова отправляла. Перевод еще не был закончен, как мы встретились, но не в Париже и не в Беркли, а в Гарварде. Осенью 1981 года Милош проводил там семестр, во время которого прочел ставшие потом знаменитыми «Шесть лекций о поэзии» (кстати, в той же книге «Хроники» есть аналог им, но написанный стихами – особыми милошевскими стихами). А меня, оказавшуюся в США, пригласили прочитать лекцию – о чем бы вы думали? – ну конечно о том же самиздате. И Милош пришел на мою лекцию! Нобелевский лауреат был моим слушателем, а я – прямо как его профессор. Вот раздувалась от гордости – и смущения. А после лекции я собралась показывать Милошу перевод, заново исправленный по советам Бродского. Тогда-то Милош и сказал мне: «После Иосифа могу больше не смотреть».

Я долго не решалась переводить Милоша: тот же «Поэтический трактат», на который я страшно завелась еще в Москве, казался мне неперевожимым. После Нобелевской премии Владимир Максимов потребовал от меня стихов Милоша – я перевела «Особую тетрадь: Звезду Полюнь» (да еще несколько стихотворений для «Вестника РХД») и уверовала в собственные силы. Тогда и взялась за «Трактат». Перевод всё еще не был окончен, а Милош, как мне передавали со всех сторон, уже хвалил его американским студентам.

Последний раз мы виделись в октябре 1997 года в Кракове, на международном фестивале поэтов «Восток – Запад». Сохранилась групповая фотография, где я стою рядом с Милошем, далеко не доставая ему до плеча. Где-то с другого края стоит Томас Венцлова<sup>2</sup>. Очень хорошо было видеть вместе Чеслава Милоша и старого моего друга Томаса (Томаша, как по-польски звал его Милош): поляк и литовец, но оба «литвины», и чем-то, не только ростом, ужасно схожие. Зато никогда я не видела Милоша с Бродским (не совпало: в Париж из Америки они приезжали в разное время, а когда я виделась с Иосифом в Нью-Йорке, Милош был или в

---

<sup>2</sup> Ужасная ошибка памяти! Я наконец нашла эту фотографию (см. мою книгу «Прозой. О поэзии и поэтах»): на ней есть Кнут Скуениекс и Яан Каплинский, Вислава Шимборская и Адам Загаевский, Евгений Рейн и «разные прочие шведы», но Томаса нет, хотя он был на этом фестивале. И нет сомнения, что Томаса с Милошем вместе я так или иначе видела, поэтому дальнейшие свои слова не беру обратно. – НГ-2011.

Беркли, или, как в тот раз, в Гарварде, или даже, такое однажды случилось, в Париже), Милоша с Гедройцем (главный редактор «Культуры» любил принимать гостей по отдельности).

Думаю, что об отношениях Чеслава Милоша с Ежи Гедройцем еще напишут люди, знающие дело лучше меня, тем более что уже изданы тома переписки, проливающей свет на их не всегда простые, но очень важные для обоих отношения. Хочу только напомнить, что когда Милош стал эмигрантом, то первым – и надолго едва ли не единственным, – кто протянул ему руку помощи, был Ежи Гедройц. Лондонские круги польской эмиграции смотрели на вчерашнего дипломата ПНР, мягко говоря, с недоверием, а чаще – с прямой враждебностью. Милош стал печататься в «Культуре», выпускать книги в ее издательстве. В 1980 году у Гедройца было два великих праздника: одним было создание «Солидарности», подготовленное поколением, которое называло себя возвращенным на парижской «Культуре», считало себя учениками Гедройца; а затем последовала Нобелевская премия Милошу. В декабре Милош приехал из Стокгольма прямо в Париж. «Институт литерацкий» переиздал все его прежние книги, и на вечере Милоша (цитирую сама себя) «я видела, как читатели расхватывали эти свежевypущенные томики в привычной серенькой обложке, только с красной полоской на уголке: „Нобелевская премия, 1980“».

\* \* \*

Чтобы вернуться от «моего» Милоша к Милошу как таковому, закончу цитатой из Витольда Гомбровича. Как легко догадаться, Гомбрович, скончавшийся в 1969 году, сказал эти слова, когда присуждение Чеславу Милошу Нобелевской премии никому еще и во сне не снилось.

Это писатель с ясно очерченной задачей, призванный ускорить наш темп, чтобы мы поспевали за эпохой, – притом с великолепным талантом, замечательно приспособленный к выполнению этих своих предназначений. Он обладает чем-то на вес золота, что я назвал бы «волей к реальности», а в то же время – ощущением болезненных точек нашего кризиса. Он принадлежит к немногим, чьи слова имеют значение...

## **Большой формат**

### **Поэтический трактат**

#### **Вступление**

Пускай родная речь простою будет.  
Пускай любой, едва услышит слово,  
Увидит реку, яблоню, тропинку,  
Как видишь в полыхании зарниц.

Однако речь не может быть картиной  
И только. Издавна ее прельщает  
Мелодия и рифмы колыбельность.  
Неладно ей в сухом, шершавом мире.

Сегодня часто спрашивают, что за  
Смущение, с каким стихи читаешь,  
Как будто автор с умыслом неясным  
В них обращался к худшему себе,  
Изгнавши мысль и обманувши мысль.

С приправой шутки, шутовства, сатиры  
Поэзия ценителей находит,  
Такой она понравиться способна.  
Но те баталии, где ставка – жизнь,  
Ведутся в прозе. Не всегда так было.

И до сих пор не высказана горечь.  
Роман, трактат служебен, но не вечен.  
Одно хорошее четверостишье  
Томов трудолюбивых тяжелей.

#### **I. Прекрасная эпоха**

Дремали дрожки у Марьяцкой башни.  
Уютный Краков в зелени лежал  
Пасхальным свежекрашенным яичком.  
В плащах широких важно шли поэты.  
Никто не помнит нынче их имен.  
Но руки их, они реальны были.  
Над столиками запонки, манжеты.  
На палке нес газету вместе с кофе

Официант – и канул безымянным.  
Рахили в длиннохвостых шالях<sup>3</sup>, Музы,  
Пригубивши, закалывали косу  
Той шпилькой, что лежит сегодня в пепле  
Их дочерей или в комодке подле  
Умолкшей раковины. Ангелы модерна  
В домах отцовских, по уборным темным,  
Обдумывали связь души и пола,  
Печали и мигрень лечили в Вене  
(Сам доктор Фрейд, слышал я, галичанин).  
У Анны Чилаг<sup>4</sup> отрастали кудри,  
Блистают позументами гусары.  
В горах носился слух, что Франц-Иосиф  
Внизу, в долине, проезжал в карете.

Там наш исток. Напрасно отрицать,  
На Золотой далекий век ссылаться.  
Не лучше ли принять, признать своими  
Усы колечком, набок котелок,  
Побрякиванье дутого брелока.

Признать и песню над пивною кружкой  
В суконно-черных заводских предместьях.  
Уходят, чиркнув спичкой, на полсуток  
Творить в дыму богатство и прогресс.  
Рыдай, Европа, жди себе шифкарты.<sup>5</sup>  
Под Рождество на рейде Роттердама  
В молчаньи станет судно эмигрантов.  
К обмерзлым мачтам, словно к снежным елям,  
Трюм вознесет молитву на мужицком  
– Словенском или польском – диалекте.

Простреленная пулей, пианола  
Играет. Пары буйствуют в кадрили.  
Рыжа, толста, оттянутой подвязкой  
Пощелкивая, развалясь на троне,  
В пуховых туфлях тайна ожидает  
Торговцев сальварсаном и резинкой.

---

<sup>3</sup> «Рахили в длиннохвостых шалях» – отсылка к героине драмы Станислава Выспянского «Свадьба» (те, кто видел фильм Вайды, помнят Майю Коморовскую в роли Рахили). Переводчику приходится признаться, что первый, поверхностный (и ошибочный) вариант был «Рашели»: автоматически сработало «ложноклассическая шаль» и «Так, негодующая Федра, / Стояла некогда Рашель».

<sup>4</sup> Анна Чилаг (правильно: Циллаг) – героиня рекламы средств для рашения волос перед Первой мировой войной в Австро-Венгрии. Она уже появлялась в польской поэзии – в стихотворении Юзефа Витлина «A la recherche du temps perdu» (1933): Я, Анна Чилаг, с длинными кудрями, Всё та, всё в той улыбке сладко тая, Стою между газетными столбцами Вот уже тридцать лет, как бы святая..... Моих кудрей шумящий водопад Ковром пушистым стелется до пят, До пят босых волосяной богини..... Я, Анна Чилаг, даже в те года, Как кровь была дешевле, чем вода, И литеры набора заливала, И рядом со столбцов ко мне взывала, — Не поседела ни на волосок, Не оскудела ни на волосок.

<sup>5</sup> Немецкое слово Schiffkarte в форме «шифкарта» вошло в польский язык в начале XX в., во времена массовой эмиграции, – ныне ощущается как устаревшее. «Шифкарта» была для эмигрантов даровым билетом на проезд в трюме трансатлантического парохода – билет оплачивали и высылали заокеанские родственники.

Там наш исток. Иллюзион мигает:  
Макс Линдер – плюх, с коровой в поводу.  
В садах сквозь зелень светят лампы.  
И оркестрантки в трубы, трубы дуют.

Свиваясь из сигарного дыма,  
Из рук, колец, сиреневых корсажей,  
Через поля, долины, горы вьется  
Команда: «Vorwärts! En avant! Allez!»  
То наше сердце залито известкой  
В пустых полях, распаханых огнем.  
Никто не знает, почему скончались  
– Всё под кадрили – богатство и прогресс.

Как ни печально, там наш стиль родится.  
Под утро лира смиренная бряцает  
В мансарде над шантанной погремушкой.  
Как звёздный хруст – эфирные напевы,  
Ненужные купцам и их супругам,  
Ненужные и в деревушках горных.  
Они чисты, наперекор земному.  
Они чисты и слов таких не знают:  
Вагон, билеты, задница и деньги.

Учись читать, мечтательная Муза,  
В домах отцовских, по уборным темным,  
И знай отныне, что не поэтично.  
Поэзия же – тайное волнение  
И легкий вздох, укрытый в многоточьях.

Течет, струится непередаваемо,  
Эрзац молитвы. Так и станет впредь  
Простой порядок слов недопустимым.  
«Фи, публицист. Уж говорил бы прозой».  
Пока открытием авангардистов  
Не станет износившийся запрет.

Не все поэты без следа исчезли.  
Каспрович выл, рвал шелковые путы,  
Не разорвал – они же невидимки,  
Да и не путы, а нетопыри,  
Что на лету сосут из речи соки.  
Стафф, несомненно, был медвяно-ясным,  
Русалок, ведьм и проливень весенний  
Он славил мнимому же миру.  
А что до Лесьмяна, тот был логичен:  
Уж если это сон, так сон до дна.

Есть в Кракове короткий переулок.  
Два мальчика там жили по соседству.  
Когда один из школы возвращался,  
Видал другого на песке с лопаткой.  
Несхожи судьбы их, несхожа слава.

Огромный океан, чужие страны,  
Коралловые отмели за рифом,  
Где в раковину голый вождь трубит,  
Познал моряк. И живо то мгновенье,  
Когда в жаре безлюдного Брюсселя  
Он тихо шел по мраморным ступенькам  
И возле «K°» компании звонок  
Нажал и долго вслушивался в тишь.

Вошел. Две женщины на спицах нитку  
Сучили – он подумал: словно Парки.  
На дверь кивнули, скручивая пасмо.  
Директор анонимно подал руку.  
Вот так стал Джозеф Конрад капитаном  
На Конго, по решению судьбы.  
И Конго – место действия рассказа,<sup>6</sup>  
Где слышащим давалось прорицанье:  
Цивилизатор, очумелый Курц,  
Владел слоновой костью в пятнах крови,  
Кончал отчет о просвещеньи негров  
Призывом к истреблению, вступая  
В двадцатый век.  
Об ту же, впрочем, пору  
Подковки, ленты, пляски до утра  
В подкраковской деревне, под волюнку,  
И сотни лет игравшийся вертеп.

Неодолимой воли был Выспанский,  
Хотел театра, как у древних греков.  
Но не преодолел противоречья,  
Что преломляет нам и речь, и зренье,  
В неволю нас эпохе отдавая,  
И мы уже не лица, а следы,  
Не личности, а отпечатки стиля.  
Подмоги нам Выспанский не оставил.

Наследье наше – памятник иной,  
Воздвигнутый шутя, а не во славу.  
Для языка по мерке, как частушка,  
А для бесплотной мысли в поученье.

---

<sup>6</sup> Речь идет о повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы».

Острóты, чепуха, «Словечки» Боя.<sup>7</sup>

День угасает. Зажигают свечи.  
Винтовочный затвор на Олеандрах  
Не щелкает. Лужайки опустели.  
Ушли эстеты в скатках пехотинцев.  
Их кудри смел цырюльный подмастерье.

Стоит в полях туман и запах дыма.  
Наполнит рюмки доктор. А она  
У фортепьяно, при свечах, в лиловой  
Вуали, напевает эту песню,  
Что нам звучит, как весть из ниоткуда.

Отголоски далекой кофейни  
Оседали на мертвый висок.

## II. Столица

Чужой ты город на песках сыпучих,  
Под православным куполом Собора,  
Твоя погудка – ротная побудка,  
Кавалергард, солдат всех выше,<sup>8</sup>  
Тебе из дрожek ржет «Аллаверды».  
Так надо оду начинать, Варшава,  
Твоей печали, нищете, разврату.  
Окоченелою рукой лотошник  
Отмеривает семечки стаканом.  
Увозит прапорщик у стрелочника дочку,  
Чтобы ей княжить в Елисаветграде.

На Черняковской, Гурной и на Воле  
Уже шуршат оборки Черной Маньки,<sup>9</sup>  
Уже она в парадном подмигнула.

Тобою, город, Цитадель владеет.  
Прядет ушами кабардинский конь,  
Едва послышится: «Смерть вам, тираны!»

О луна-парк привислинского края,  
С губернией тебе бы управляться.  
Но стать теперь столицей государства,

---

<sup>7</sup> «Словечки» Тадеуша Желенского, более известного под псевдонимом Бой, – сборник «фрашек» (стихотворных острот или, попросту говоря, эпиграмм).

<sup>8</sup> «Кавалергард, солдат всех выше» – по-русски в тексте. Строка из русской армейской песни.

<sup>9</sup> «На Черняковской, Гурной, на Воле» – начало припева популярной в варшавских предместьях баллады о Черной Маньке, проститутке, отравившейся после того, как ее бросил возлюбленный (ср. «Маруся отравилась...»).

Теперь, в толкучке беженцев с Украины,  
Распродающих уцелевший скарб?  
Палаш да ржавый карабин французский —  
Вооруженье для твоих баталей.  
Против тебя, смешная, все бастуют:  
И в Златой Праге, и в английских доках.

В отделах пропаганды добровольцы  
Строчат ночами о грозе с востока,  
Не зная, что над гробом им сыграют  
На хриплых трубах «Интернационал».

И все-таки ты есть. И с черным гетто,  
И со слезами женщин в довоенных  
Платках, и с сонным гневом безработных.

Шагая взад-вперед по Бельведеру,  
Пилсудский не уверует в стабильность.  
«Они на нас, — твердит он, — нападут».  
Кто? И покажет на восток, на запад.  
«Я бег истории чуть-чуть затормозил».

Вьюнок взойдет из заскорузлой крови.  
Где полегли хлеба, пройдут бульвары.  
Как это было? — спросит поколение.

А после не останется ни камня  
В том месте, где ты был когда-то, город.  
Огонь пожрет истории прикрасы,<sup>10</sup>  
Как грошик из раскопок, станет память.  
Но поражения твои вознаградятся.  
Как знак того, что только речь — отчизна,  
Вал крепостной тебе — твои поэты.

Поэт нуждался в доброй родословной.  
От набожного цадика, к примеру.  
Родители, Лассалья начитавшись,  
Клялись Прогрессом и берлинской Lied  
И выхолащивали красоту.  
Бывали захудалей: из мещанства,  
Из безземельной шляхты, даже немцы.

Не снилось им, гудя «Под пикадором»,  
Как горек на укус лавровый лист.  
Тувим на вечерах в глухих местечках  
Кричал, раздувши ноздри: «Ça ira!»

---

<sup>10</sup> Строка из «Конрада Валленрода» Мицкевича. Здесь приводится по кн.: Адам Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1968, — в пер. Н. Асеева.



Взрывался зал туземной молодежи  
На ветхий звук запрошлого столетья.  
Энтузиастов – тех из них, кто выжил, —  
Тувим увидит на балу ГБ.  
Кольцом замкнулась огненная цепь,  
Бал у Сенатора<sup>11</sup> вовеки длится.

Весну, не Польшу поджидал весною,<sup>12</sup>  
Топча бывшее, Лехонь-Герострат.  
Однако жизнь его прошла в раздумьях  
О слущких поясах, о кармазине  
Да о религии: не о католицизме,  
Но – просто польской. Для национальной  
Обедни он избрал в жрецы Ор-Ота.<sup>13</sup>

А что Слонимский, грустный, благородный?  
Грядущее он пел, ему вверялся  
И верил: по Уэллсу ли, иначе ль,  
Но Царство Разума вот-вот наступит.  
Под Небом Разума кровотоющим  
Он и под старость внуков одарял  
Надеждой бородатой: мол, увидят,  
Как Прометей спускается с Кавказа.

Из камушков цветных слагал именье  
Делам публичным чуждый Ивашкевич,  
Поздней оратор, он же гражданин,  
Суровой неизбежности покорный.  
Релятивистом быть, ведь всё проходит,  
И – стать герольдом доблестей славянских,  
Чтоб слушать нам мужицкую капеллу, —  
Есть меланхолия в такой судьбе.

Но одиночество в глуши заморской  
Не лучше – разве что для честолубья.  
Извечен птичий крестик на снегу.  
Не ранит время и не исцеляет.

---

<sup>11</sup> Бал у Сенатора – сцена из III части «Дзядов» Мицкевича: Смотри, как подъезжает к даме. Вчера пытал – сегодня в пляс. Обшаривает всех глазами, Шакалом рыщет среди нас..... Вчера, как зверь, когтил добычу, Пытал и лил невинных кровь. Сегодня, ласково мурлыча, Играет с дамами в любовь..... Какой здесь блеск, все тешит взоры! ..... Ах, негодяи, живодеи! Чтоб разразило громом вас! Пер. В. Левики. Цит. по тому же изд. Речь идет о следствии, которое вел в Вильне сенатор Новосильцов по делу молодежного тайного общества филаретов. Арестованный по этому делу, Мицкевич был выслан во внутренние губернии России (его приговор был одним из самых мягких).

<sup>12</sup> «И пусть весной весну – не Польшу встречу», – писал Ян Лехонь (Лешек Серафинович) вскоре после восстановления независимой Польши. Это было время, когда в кафе «Под Пикадором» (одним из его основателей был Лехонь) начала складываться поэтическая группа «Скамандр» – о ней Милош далее говорит: «Такой плеяды не было вовеки». Кроме Лехоня, в «Скамандр» входили Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский (скончавшийся, как и Лехонь, в эмиграции), Антоний Слонимский и Ярослав Ивашкевич – обо всех см. далее текст «Трактата». Нижеупомянутые «слущкие пояса» и «кармазин» – приметы «старопольскости».

<sup>13</sup> Ор-От (Артур Оппман) – польский поэт старшего по сравнению со «скамандритами» поколения (1867—1931), певец Варшавы, патриотизма и борьбы за независимость, участник польско-советской войны 1920.

В окно к Вежинскому заглянет сойка,  
Сестрица голубая прикарпатской.  
Такою-то ценой платить придется  
За юность – за вино и за весну.<sup>14</sup>

Такой плеяды не было вовеки.  
Но в речи их поблескивала порча.  
Гармония у них пошла от мэтров.  
В их обработках не было помину  
О гомоне сыром простых вещей.

А там бурлило, там бродило глубже,  
Чем достает отмеренное слово.  
Тувим жил в ужасе, смолкал, кривился  
С чахоточным румянцем на щеках.  
И, как позднее честных коммунистов,  
Он искушал тогдашних воевод.  
Закашливался. В крике был второй,  
Замаскированный: что общество людское  
Само уже есть чудо из чудес,  
Что мы едим, и говорим, и ходим,  
А вечный свет для нас уже сияет.

Как те, что в радостной, пригожей деве  
Скелет узрели, с перстнем на фаланге, —  
Был Юлиан Тувим. Поэм он жаждал.  
Но мыслил он – как рифмовал, банально,  
Истертым ассонансом прикрывая  
Видения, которых он стыдился.

Кто белою рукою в этом веке  
Усеивает строчками бумагу,  
Тот слышит плач и стук несчастных духов,  
Закрытых в ящике, в стене, в кувшине  
И тщащихся дать знать, что их рукой  
Любой предмет из хаоса был добыт,  
Часы тоски, отчаянья, муки  
В нем поселились и уж не исчезнут.  
Тогда пугается перо держащий,  
Неясное питает отвращенье,  
Былую ищет обрести невинность,  
Но ни к чему рецепты и заклатья.  
Вот отчего младое поколение  
Умеренно любило тех поэтов,  
Им почести воздав, но не без гнева.  
Оно с тех пор программно заикалось:  
Заика-де высказывает смысл.

---

<sup>14</sup> «Весна и вино» – сборник стихов К. Вежинского (1919).

Не в милости у них был и Броневский,  
Хоть что-то – необузданно, подпольно —  
Слагал в стихи для пролетариата.  
Однако дубликат Весны Народов —  
В конце концов такое же бельканто.

А им мерещился Уитмен новый.  
В толпе извозчиков и лесорубов  
Он превращал бы повседневность в солнце.  
Вибрируя в рубанках и долотах,  
На всю-то он вселенную сиял бы.

Авангардистов было очень много.  
Достоин восхищенья только Пшибось.  
В труху распались нации и страны,  
А Пшибось тем же Пшибосем остался.  
Ему безумье сердца не изъело.  
По-человечески его легко понять.  
В чем его тайна? В Англии Шекспира  
Уже возник такой помпезный стиль,  
Что признавал метафоры и только.  
В душе был Пшибось рационалистом.  
В эмоциях не выходил за рамки  
Разумной социальной единицы.  
Равно ему чужды печаль и юмор.  
Хотел он раскрутить статичный образ.

Авангардисты, в общем, заблуждались,  
По краковскому старому обряду  
Приписывая слову ту серьезность,  
Что не снесет оно, не став смешным.  
Но, челюсти сжимая, замечали,  
Что говорят они натужным басом  
И что мечта их о народной силе —  
Уловка устрешенного искусства.

А глубже – то была пора раскола.  
«Бог и Отчизна» больше не пленяли.  
Сильней, чем встарь филистера богема,  
Поэт улана ненавидел, флаги  
Осмеивал и презирал мундиры,  
Плевал, когда со стэками юнцы  
Визжа гнались за купчиком в ермолке.

Финал заранее был уготован  
Не за нехваткой пушек или танков.  
Авангардисты, рационалисты,  
А все поэты в Польше – как барометр.  
Соборная распалась, скажем, ценность,

И вера общая людей не едина.

Кто сознавал – в иронию скрывался  
И жил на островке, среди своих.  
Кто сознавал острее – внушал себе же,  
Что если чтит кумиров, то с народом.  
Галчинский рвался падать на колени.  
Его история полна глубоких истин,  
И главная: без общества поэт —  
Как ветра шум в сухих декабрьских травах.

Не для него сомнения, иначе  
Схлопочешь вмиг предателя клеймо.  
Да будет сказано в конце концов,  
Что партия – наследник ОНР<sup>15</sup>,  
А кроме них была сплошная пустошь  
Да жалкий бунт презренных единиц.  
Кто Болеславов меч извлек из тлена?  
Кто мыслью вбил быки в корыто Одры?  
Кто сделал из страстей национальных  
Устойчивый цемент великих строек?

Галчинский всё связал одним узлом:  
Смех над буржуем, польскую «Хорст Вессель»  
И гордость, что и мы – мы тоже скифы.  
Он был равно прославлен в две эпохи.

Иная связь Чеховича с землею.  
Укропа грядки, ветхие застрехи,  
Как зеркальце – привислинское утро.  
Разносит эхо по росе куявяк  
Вальков да прачек подле ручеечка.  
Он малое любил, он сны собрал  
Земли аполитичной, беззащитной.  
О птицы и деревья, от забвенья  
Могилу Юзя в Люблине храните.<sup>16</sup>

Не нацию желал, а сто народов  
Затронуть Шенвальд. Хоть и сталинист,  
Умел у Маркса черпать и у греков.  
То нарисует сцену у ручья,  
Где школьная экскурсия встречает

---

<sup>15</sup> ОНР – Национально-радикальный лагерь, национал-социалистическая группировка, действовавшая в Польше в 1930-е. Деятели ОНР, особенно его крайнего крыла – ОНР-Фаланги, позднее легко нашли общий язык с коммунистическим режимом и, возглавив «товарищество мирян-католиков» «Пакс» («Рах»), содействовали идеологии и практике национал-коммунизма. Константы Ильдефонс Галчинский перед войной сотрудничал в журналах ОНР.

<sup>16</sup> Юзеф Чехович (1903—1939) был убит в Люблине в первые дни войны немецкой бомбой – такую смерть он себе предсказал в одном из своих стихотворений. Крупнейший представитель «катастрофизма», поэт «второго авангарда», провинциал, лишь наездами живший в Варшаве, – он особенно близок Милошу, с которым его связывала и личная, и поэтическая дружба. Выше Милош цитирует стихотворение Чеховича «Из деревни».

Босых, крадущих хворост ребятишек,  
А то покажет, как велосипед  
Овеял счастьем парня из барака.  
Поэзия – не функция морали.  
Вот Шенвальд – лейтенант-красноармеец.  
Когда по лагерям полярным стыли  
И стекленели трупы ста народов,  
Прекраснейшими польскими стихами  
Писал он оду Матушке-Сибири.

А школьник по крутому тротуару  
Уносит книгу из библиотеки.  
А книга эта – пухлый том Майн-Рида,  
Засаленный ладошками индейцев.  
Косой закат в лианах амазонских,  
Волной сносимы, распростерты листья,  
Что выдержат и тяжесть человека.  
Он, фантазер, плывет на этих листьях,  
И, бурые, как войлочный орех,  
Над ним мостом сплетаются мартышки.

А он, поэтов будущий читатель,  
Кривых плетней и серых туч не видит,  
Уже готовый жить в стране чудес.  
И, если обойдет его погибель,  
Он нежность сохранит к проводникам.  
А Ивашкевич, Лехонь и Слонимский,  
Вежинский и Тувим навек пребудут  
Таковыми, как их в юности он встретил.  
Кто больше да кто меньше, он не спросит,  
Охотясь в каждом за иным оттенком,  
Ведя челнок по Амазонке звезд.

Там ту же ложку супа в рот заросший  
Людского голода вливает Виттлин.<sup>17</sup>  
Балинский слышит бубенцы верблюдов  
В розово-серый исфаганский вечер.  
Там Тит Чижевский вторит заклинанью  
Трубящих над Младенцем пастухов.  
Корабль в витрине созерцает Важик,  
И искрится волна Аполлинера.  
Там раздаются трели нашей Сафо,  
Какой еще не знала наша речь,  
Оршули Кохановской<sup>18</sup> воскрешенной.

---

<sup>17</sup> Всё начало этой строфы – вереница скрытых цитат или отсылок к стихам названных в ней поэтов: «Гимн о ложке супа» Юзефа Виттлина, «Возвращение в Исфагань» Станислава Балинского, «Пасторалька (Коляда)» Тита Чижевского (цитаты из этого стихотворения см. также в конце III части «Трактата»). Адам Важик много переводил французских поэтов, в особенности Г.Аполлинера. Мои поиски упомянутого Милошем стихотворения Важика не увенчались успехом.

<sup>18</sup> Оршуля – дочь величайшего польского поэта Яна Кохановского (XVI в.), умершая в малолетстве. На ее смерть

Сотрется жизнь, но кружится пластинка.  
Давно забыв о бархате Карузо,  
Играет жалобу Марии Павликовской,  
Предсмертное ее «Perche? Perche?»<sup>19</sup>

Так не напрасно ссохлась кровь улана  
Для муравьев подарком под березой?  
Не так уж, значит, стоит осужденья  
Заботившийся только о границах  
Пилсудский? Он купил нам двадцать лет,  
Тянул он шлейф грехов и обвинений,  
Чтобы прекрасное созреть успело.  
Прекрасное – такая, скажут, малость.

Читатель, ты не заживешь по-райски.  
Страна эта прекрасна и обильна,  
Да непрочна, как брезжущий рассвет.  
Мы что ни день ее воссоздаем  
И больше уважаем, что реально,  
Чем что застыло в звуке и в названьи.  
И силой – она вырвана у мира,  
А без усилия – не существует.  
Прощай, прошедшее. Стихает эхо.  
И нашей речи быть кривой, корявой.

Последние стихи эпохи шли  
В печать. Их автор, Владислав Себыла,  
Под вечер вынимал из шкафа скрипку,  
На полке с Норвидом футляр оставив,  
И железнодорожного мундира  
Тогда он не застегивал петлицы.  
В своих стихах, подобных завещанью,  
Отчизну он сравнил со Святовидом.  
Все ближе, ближе барабанный рокот  
С равнин восточных, с западных равнин,  
А ей все снится пчел ее жужжанье  
В полдневный зной, в садах у Гесперид.  
За это ли Себылу под Смоленском  
В лесу зарюют, прострелив затылок?<sup>20</sup>

---

Кохановский написал пронзительные «Трены» («Плачи»), где говорит, что Оршуля должна была стать его наследницей в поэзии. В традициях польской поэзии – сравнивать поэтесс с Оршулей Кохановской.

<sup>19</sup> Стихотворение Марии Павликовской-Ясножевской «Perché» входит в цикл «Пластинки Карузо». Образ пластинки появляется и в одном из предсмертных стихотворений Павликовской, где «игла соловьиного голоса» упирается в «холодную могильную плиту» (по-польски плита и пластинка – одно и то же слово), и эта плита-пластинка «кружит, и звучит слоу-фокс „ЖИЗНЬ“ среди ночи и рос» (перевод дословный).

<sup>20</sup> Владислав Себыла был расстрелян в Катынском лесу. В Нобелевской лекции Милош сказал: «В антологиях польской поэзии есть имена моих друзей: Леха Пивовара и Владислава Себылы – и дата их смерти – 1940. Абсурдно, что нельзя написать, как они погибли, хотя в Польше каждый знает правду: они разделили судьбу многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним пособником Гитлера, и похоронены в массовой могиле». Отметим, однако, что в двухтомной антологии «Польская поэзия» (сост. С. Гроховяк и Я. Мацеевский. Варшава, 1973) годы жизни Себылы указаны: 1902—1941, с фальсифицированной датой смерти. Те же даты были повторены и в первом и единственном (на 1982, когда я переводила

Прекрасна ночь. Высокая луна  
Переполняет небо тем сияньем  
Особенным, сентябрьским. Скоро утро.  
И воздух тих над городом Варшавой,  
И серебристые аэростаты  
Стоят недвижно в побледневшем небе.

Процокают у Тамки каблучки,  
Призывный полушепот, и в бурьянник  
Уходит парочка. В тени незримый,  
Молчит дежурный, только ухо ловит  
Их слабый смех в густой постели мрака.

Ни жалость одолеть он не умеет,  
Ни выразить их общую судьбу.  
Рабочий и простая поблядушка  
Перед ужасным восходящим солнцем.

И, может, поразмыслит он позднее,  
Что стало с ними в днях или веках.

### III. Дух истории

Когда со статуй краска опадает,  
Когда законов буква опадает,  
Сознание голо, как зеница ока.

Когда на сталь, на съёженные листья  
Летят огнем из книг сухие листья,  
Добра и зла ничем не скрыто древо.

Когда на грядках гаснет крыл холстина,  
Когда трещит железо, как холстина,  
Солома остается да навоз.

По колким стежкам, в рощах мазовецких,  
В песке меж Губернаторством и Рейхом,  
Ступают ноги плоские крестьянки.  
Пристанет, на сосёнку обопрется,  
Занозу вынет из подошвы пыльной,  
И масляный брусок в тряпице мокрой  
Музейный слепок снимет со спины.  
У переправы бой, квохтанье кур,  
Из кузовков повысунулись гуси,

А в городах прочиркивают пули  
По плитам, по кисетам с табаком.  
И в пригороде, в глиняном карьере,  
Всю ночь кончается старик-еврей,  
Лишь на рассвете вой его утихнет.  
Седая Висла оmyвает лозы  
И сносит камешки, катясь широко.  
И хлюпают колеса парохода,  
Набитого мешочниками. Шест  
В течение тычет Стасек или Генек,  
Покрикивая: «Метар! Метар двадцать!»

Где дым от крематория клубится  
И где по деревням звонят к вечерне,  
Гуляет Дух Истории довольный.  
Милы ему после потопа страны,  
Готовые принять любую форму.  
Мелькает на задворках та же юбка  
В Аравии, и в Индии, и в Польше.

Он по́ небу распластывает пальцы.  
Под ними едет на велосипеде  
Организатор сети контрразведки,  
Кругов военных лондонский посланец.  
Внизу, как жито, мелки осоко́ри,  
Ведущие от дома до усадьбы,  
А там сидят, усталые, в столовой  
Ребята в офицерских сапогах.  
Усы возниц запорошило пылью.  
Поэт его узнал уже, увидел,  
Злобога, у которого во власти  
И время, и судьба поденок-царств.  
Его лицо размером в десять лун,  
На шее бусы из голов кровящих.  
Кто не признал его – жезлом задетый,  
Заговорится и утратит разум.  
Кто поклонился – будет лишь слугою,  
Ему презреньем господин оплатит.

Венки лавровые, лужайки, лютни!  
Куда вы делись, дамы и князья!  
Вас можно было распотешить лестью,  
В припрыжке ловкой кошелек словить.  
Он жаждет большего – души и плоти.

Кто ты, властитель? Долги эти ночи.  
Не ты ли ведом нам как Дух Земли,  
Что сбрасывает гусеницу с груши  
На прокормленье черному дрозду?



Что дохлыми жуками устилает  
Постельку луковицы гиацинта?

Губитель, ты и он – одно и то же ль?  
Он, неотступный, он, товарищ верный.  
Как часто нашей он водил рукою  
По гладкой шее и спине деви́чьей,  
Когда бредут в июльский вечер пары  
Лугами к озеру под запах сосен,  
Гармоника наигрывает небыль  
Про острова влюбленных в океане.  
Теперь мотив забыт, и вспомнить страшно.  
Как часто он же нам, краса и слава,  
Ликующий тетеревиный клич,  
Иронией умел скривить улыбку,  
Нашептывая, что весенний воздух,  
Трель соловья и наше вдохновенье —  
Всего лишь его щедрая наживка,  
Чтоб совершалось продолжение рода,  
Что кровь остынет и, покрыты ржою,  
В гниющем пурпуре мы погрузимся  
В тот прах, что миллионы лет копился,  
Где нас заждался прадед-питекантроп.

Скажи, в разумном гегелевском фраке  
Любитель диких ветреных сторонек,  
Ты что же, имя поменял – и только?

Подпольные листки в холщовой сумке.  
Поэту слышен смех его могучий:  
Я в наказание разума лишил их.  
Никто не встанет мне наперекор.

Где слово, что грядущего достигнет,  
Где слово, что спасет людское счастье,  
Которое так пахнет теплым хлебом,  
Когда язык поэзии не знает  
Того, что выпало потомкам поздним?  
Мы не обучены, не представляем,  
Как слить Свободу и Необходимость.

К двум крайностям во сне клонится ум.  
Погибель неземных и осиянных:  
Ища небес, материю презрели.  
В ней радость, сила жизни и тепло.  
Погибель грузных и благоразумных:  
Рассветную звезду во лжи утопят —  
Тот дар, что выше смерти и природы.

Подпольные листки в холщовой сумке.  
Крошится пропагандная поэма.  
Не зная, что к чему, звучит фальшиво.  
От сильных чувств поэзия смолкает,  
Еще твердит далекие призывы,  
Но содержание ей не в подъем.  
В наш век есть то, чего не увидали  
Двадцатилетние варшавские поэты, —  
То, что идеям сдастся, не Давидам  
С пращою. У больничного порога  
Вот так стремишься только раз, последний,  
Понять и смех детей, и птичье пенье,  
Пока еще не заперты ворота,  
И, к завтрашним решениям равнодушный,  
Ты цепко верен нынешней минуте.  
Над старой баррикадой не вставали  
Народов зори и заветы предков.  
Стояла раненая Богоматерь  
Над желтым полем и венком polegших.

Те юноши растерянно касались  
Стола и стула утром, словно в ливень  
Нетронутый находишь одуванчик.  
Для них дробились в радугу предметы,  
Размытые, как в отошедшем прошлом.  
Возможность славы, мудрости, покоя  
Они своей молитвой отвергали.  
Все их стихи — о мужестве молебен:  
«Когда мы будем изгнаны из жизни,  
Наш дом златой, в постель из малахита  
Ты на ночь нас — на вечную — прими».  
И ни один герой у древних греков  
Не шел на битву так лишен надежды,  
Воображая свой бесцветный череп,  
Откинутый ботинком равнодушным.

Поляком или немцем был Коперник?<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> В 1943 Третий Рейх торжественно праздновал 400-летие со дня рождения «великого немецкого ученого» Николая Коперника. В знак протеста молодые поэты из группы «Искусство и нация» решили возложить венок к памятнику Коперника. Памятник охранялся — именно во избежание манифестаций польского патриотизма. Венок возложил Вацлав Боярский, Здислав Строинский делал фотографии, Тадеуш Гайцы с пистолетом прикрывал операцию. Уходя от погони, Боярский наткнулся на патруль и был смертельно ранен — он умер в тюремной больнице. Арестованный Строинский успел уничтожить пленку, а затем и доказать, что он, провинциал, в Варшаве оказался случайно и ни к чему отношения не имеет. Освобожденный через несколько месяцев после ареста, он погиб в 1944 во время Варшавского восстания в один день с Гайцы. Анджей Тшебинский, поэт, прозаик и драматург, был в первую очередь теоретиком этой группы, патриотизм которой доходил до велико-польского шовинизма и имперской идеологии и приводил к проповеди утилитарного искусства. В 1944 Тшебинский попал в облаву и был расстрелян в развалинах варшавского гетто. Чтобы расстреливаемые не могли кричать, им заливали рты гипсом. Кишиштоф Камиль Бачинский (не примыкавший к группе «Искусство и нация», но так же, как и вышеназванные поэты, боец Армии Крайовой) был, несомненно, самым многообещающим поэтом этого поколения. После смерти его сравнивали с Юлиушем Словацким. Все эти поэты погибли в возрасте 22—23 лет. Милош во время оккупации хорошо знал всю эту молодежь, составлявшую, как и он, часть подпольной культурной жизни Варшавы. (Многие страницы дневника

У памятника пал с венком Боярский.  
Должна быть жертва чистой и бесцельной.  
Тшебинский, этот новый польский Ницше,  
Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,  
Запомнил стену, медленные тучи,  
Секунду глядя черными глазами.  
Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.  
Восстание спугнуло голубей.  
Строинский, Гайцы были взнесены  
В багрянец неба на щите разрыва.

С гусиных перьев капелькой чернильной  
Свет дня еще под липой не скатился.  
Все тот же в книгах царствовал порядок,  
Уверенный, что зримая краса  
Есть зеркальце для красоты творенья.

В полях живые от себя самих  
Бежали, зная, что столетье минет,  
Пока вернутся. Впереди зыбучий  
Песок, где превращаются деревья  
В ничто, в анти-деревья, где границ  
Нет между формами, где напрочь рухнул  
Тот дом златой, то слово б ы т и е,  
И – с т а н о в л е н ь е с этих пор у власти.

Им шею гнула прожитая трусость:  
Никто не рвался погибать бесцельно,  
Но, гибели боясь, утратил цель.  
А он, предсказанный и долгожданный,  
Дымил над ними тысячей кадильниц.  
К нему ползли они по хлябям на поклон.

«О Царь веков, Круговорот безмерный,  
Ты наполняешь гроты океана  
Беззвучным шумом, ты живешь в крови  
Акулами сжираемой акулы,  
Ты слышен в посвисте летучей рыбы,  
В железном грохоте и гуле скал,  
Когда вздымаются архипелаги.

Прибой грохочет, унося пожитки,  
Жемчужины суть кости, с коих соль  
Сняла парчу и царские короны.

---

Тшебинского посвящены полемике с Милошем: идейное несогласие борется с восхищением.) В 1958 Милош написал стихотворение «Баллада». Вот строки из него: Под землею Гайцы, под землею, Уж навеки двадцатидвухлетний. И без глаз он, и без рук, без сердца, Ни зимы не знает и ни лета..... Под землею Гайцы – не узнает. Что Варшава битву проиграла. Баррикаду, на которой умер. Разобрали треснутые руки. – Говорят, сынок, стыдиться надо, Не за правое, мол, дело бился. Мне ли знать, пускай Господь рассудит... (Теперь я перевела стихотворение целиком. См. с. 114 наст. изд. – НГ-2011.)

О Безначальный, о переходящий  
Из формы в форму, о поток, о искра,  
О антитезис, зреющий во чреве  
У тезиса. Вот стали мы как боги,  
В тебе поняв, что мы не существуем.

Ты, в ком с причиной следствие сошлось,  
Ты вывел нас из глубины, как волны,  
В единый миг безбрежной перемены,  
Открыл нам боль двадцатого столетия,  
Чтоб мы взойти могли на высоту,  
Туда, где держишь ты штурвал вселенной.  
Помилуй нас. Грехи наши огромны.  
Мы забывали твой закон. Невеждам  
Прости и яко верных нас прими».

Так присягали, но упорно втайне  
Надеялись, что время – арендатор  
Не на века. В один прекрасный день  
Дано им будет на побег цветущий  
Глядеть одну безмерную минуту,  
Закрывать клепсидру, убаюкать волны  
И маятника слушать замиранье.

Когда обмотают мне шею веревкой,  
Когда мне дыхание отнимут веревкой,  
Качнусь я по кругу, и кем же я буду?

Когда меня в ребра уколют фенолом,  
Когда я шагнуть не смогу под уколом,  
Какую ж я мудрость пророков добуду?

Когда разорвут наши руки навеки,  
Когда разорвут наши зори навеки,  
Никто их на небе не свяжет обратно.

А я, кроме сердца, что вот-вот умолкнет,  
А я, кроме слова, что вот-вот умолкнет,  
Не знаю ни дома, ни сына, ни брата.  
Поэт облакам угрожал в нашем гетто,  
Бросал я монетки в ладони поэта,  
Чтоб песня до смерти осталась со мною.

На камерной стенке долбил я ночами  
То слово любви, чтоб до века скончанья  
Оно вокруг солнца кружило с тюрьмою.

В жестянку, в жестянку в такт песенке бил я,  
И нет меня, нету, а там еще был я,

Где наша дорога свернула к застенку.

И в день покаяния, в день ли прощенья,  
Быть может, откроют, отроют в защельи  
Мой след, мой дневник, замурованный в стенку.

Земля истребления, погибели, злобы,  
Она не очистится силою слова,  
Не уродить ей такого поэта.

А если б один и нашелся единый,  
Мы вместе за проволоку с ним уходили,  
Избранником было бы детище гетто.

Славянской сельской неуклюжей речи  
Пришлось-таки изрядно потрудиться  
Над рифмой безымянного напева,  
Что и поныне в воздухе дрожит  
И там, где в пальмы белый бьет прибой,  
И там, где встали пихты штата Мэн  
И в ледяные воды Лабрадора  
Скопа ныряет. А напев был прост.  
Тот мадригал, что прежде под виолу  
Девичам пели во саду зеленом,  
Впервые прозвучал наоборот.  
Зима пройдет  
Единственная мстительная радость  
Еврейских девушек на тяжком марше.  
Да, скоро ночью журавли промчатся,  
Лежалый снег не будет ранить руки.  
Да, у ручья на гравии стопа  
Розовощекой галькой захрустит.

Весна придет

Да, буйным соком набегут тюльпаны,  
В окно жужжа ударит майский жук.  
Да, юноша сплетет своей невесте  
Венок из молодых дубовых листьев.

Тогда из нас

Из нас – ведь мы теперь одно и то же.  
Кость, мясо, нервы – наши, не мои.  
А имена Рахиль, Мирьям и Соня  
Угаснут и остынут на ветру.

## Трава взойдет<sup>22</sup>

Трава, побитая иронией напева.

Засолены огурчики с укропом  
В посуде запотелой. Вот что вечно.  
И хворост в очаге трещит с утра.  
Некрашенные ложки в миске с супом.  
В сенях берешь корзины и мотыги  
Под стенкой, под куриное квохтанье.  
И – по меже. И ни конца, ни краю.  
Туманно, плоско аж до Скерневиц.  
Туманно, плоско дальше до Урала.  
Эй-эй, не устай, не скоро полдень.<sup>23</sup>  
В легкую нанку одевшись по моде,  
Юных и светских сзываю соседей;  
Мы за нарядами утро проводим  
Иль предаемся веселой беседе.

Над глиной, над картофельной ботвою  
Порхнет снежинкой, искрой самолет  
И кувыркнется высоко за тучей.

Ну-ка, кто о чем тут страждет?  
Кто тут алчет? Кто тут жаждет?

В горчичных зернах больше нет нужды.  
Поэзия живет в фарфоре теплом,  
И служит ей Харит прелестных стайка,  
Смысл извлекая из античных зелий.  
Попыхивая люлькой, в легкой нанке,  
Пускай бы снова помечтал поэт.

---

<sup>22</sup> Эти четыре строки – подлинная песня, возникшая в гетто во время оккупации.

<sup>23</sup> Далее следуют прямые и скрытые цитаты из Мицкевича. Мицкевич – более, чем кто-либо, соотечественник Милоша. Несмотря на утверждение, что «только речь – отчизна», Милош мог бы повторить за Мицкевичем: «О Литва! отчизна моя!» «В легкую нанку...» – строфа из раннего (1817) стихотворения Мицкевича «Зима в городе», отсюда же – «стайка Харит». «Ну-ка, кто о чем тут страждет? / Кто тут алчет? Кто тут жаждет?» – из части II «Дзядов». Переводчику было бы удобнее использовать уже имеющиеся русские переводы Мицкевича, но если стихотворение «Зима в городе» в основательный, уже цитированный нами том «Библиотеки всемирной литературы» не вошло, то две строки из «Дзядов» (припев Хора) переведены несколько неуклюже и не очень точно: «Что вам дать? пусть молвит каждый! / Голодом томитесь? Жаждой?» – в то время как дословно это: «Говорите, кому чего не хватает, / Кто из вас жаждет, кто из вас алчет?» При этом справедливость требует отметить, что в целом перевод Л. Мартынова очень хорош – так, предыдущий припев Хора и точен, и выразителен, и сохраняет структуру мицкевичевского двустийшия: «Глушь повсюду, тьма ложится, / Что-то будет, что случится?» Из той же сцены «Дзядов» – и «горчичные зерна»: «Что же просишь ты, дружок, чтоб попасть душе на небо?..... Два зерна горчичных дайте! Эти зернышки дороже Всяческого отпущенья! Слушайте же все и разумеете, Знайте, что Господь повелевает: Тот, кто горя не познал на свете, После смерти радость не познает!..... Детки горемычные, Вот вам на дорогу Два зерна горчичные И – летите к Богу! Пер. Л. Мартынова Дом, что «бревенчат, но на камне ставлен», – это дом Соплици в книге первой «Пана Тадеуша» (в переводе «Библиотеки всемирной литературы» эта деталь отсутствует, видимо, не вместились в строку). Там же упомянуты «Федон» (диалог Платона) и «Жизнь Катона» Плутарха (где, в частности, говорится, что Катон Младший увлекался диалогом «Федон, или О бессмертии души»): «... Вот Рейтан на портрете. Без вольности былой не мыслит жить на свете: Сверкает нож в руке, решение непреклонно, Раскрыты перед ним «Федон» и «Жизнь Катона». Пер. С. Мар (Аксеновой) «Венчает замок гору в Новогрудке» – строка из «Гражины», приводящая к сравнению холмистой Виленщины и плоской мазовецкой равнины. Потому-то далее «кто не рожден в том полевом краю» – это и Мицкевич, и Милош.

Был дом бревенчат, но на камне ставлен.

Лежали там «Федон» и «Жизнь Катона».  
А если в доме том в канун субботы  
Затепливали дедовский подсвечник —  
Из ритмов Даниила и Исайи  
Звучал навеки памятный урок  
Цены молчания и правил стихотворства.

Венчает замок гору в Новогрудке.

Нужны ручьи, лесистые пригорки,  
А здесь не защитится человек.  
Пустые горизонты озирая,  
Он не поверит, что стоит в середке,  
И в путь пойдет за движущейся тенью.  
Кто не рожден в том полевом краю,  
По морю уплывет, уйдет по суше  
Под яблонями рейнскими искать,  
Ловить под мэнской пихтой отраженье  
Черно-зеленых рек своей отчизны.  
В столпотвореньи незнакомых лиц  
Так гонишься за некогда любимым.

Пожалуй, трудноват для нас Мицкевич.  
Куда нам до наук еврейских, панских.  
Мы там за плугом аль за бороной.  
Не та нам в праздник музыка играла.

Го-ля о-ля  
пастухи-та с поля  
утки в дудки  
пастухи до будки  
йдите-ка до хлева  
там Святая Дева  
и Григорий эконо  
со чернилицей с пером

Бурчит, буркочет брюхо контрабаса:

гуду-гуду-ду  
играю-граю-у  
Пану Богу Христу Пану  
граемо Ему

А скрипка липовая тоненько пищит:

тили-тили тели-тели  
заиграли та запели

чили-ли чели  
до звезды сочельной  
Волынку мнет и дует старый Гжеля:

ме-э-э-ле ме  
козу-бе козу-ме  
дули-гудули  
до моей козули

А с ним вперегонки дудит кларнет:

муля-уля уля-ля  
матуленька-матуля

И контрабас, подтягивая, вторит:

Пану Богу  
Христу Пану  
граемо Ему

Так многое, так много миновало.  
Но что литература не спасла —  
Нам Тит Чижевский возвратил колядкой.  
И контрабас не молкнет, как не молк.

Я высыпал табак, скрутил сигарку  
И чиркнул спичкой в домике ладони.  
А почему не трут и не кресало?  
Дул ветер. В полдень я сидел и думал  
На том краю картофельного поля.

## IV. Природа

Отворяется сад природы.  
На пороге трава зеленеет.  
Зацветает миндаль.  
Sint mihi Dei Acherontis propitii!  
Valeat numen triplex Jehovae!  
Ignis, aeris, aquae, terras spiritus,  
Salvete! – гость говорит.

Живет у яблони в хоромаш Ариэль,  
Но не придет дрожать крылом осиним.  
И Мефистофель, нарядясь аббатом  
Доминиканским или францисканским,  
С тутовника не спрыгнет в пентаграмму,  
Начерченную тростью на дорожке.



Но в розовых молчащих колокольцах  
Взбирается на скалы рододендрон.  
Колибри, как воздушная юла,  
Повисла – сердце сильное движенья.  
Коричневою каплейкой потеет  
На терние насаженный кузнечик,  
Не ведая ни пыток, ни закона.  
Что делать тут тому, кого зовут  
Верховным чудищем и чудодеем,  
Сократом слизняков, судьей иволг  
И музыкантом вишен, – человеку?  
Способна выжить индивидуальность  
В картинах, в статуях – в стихии гибнет.  
Сопровождать ему гроба лесничих,  
Которых скинул горный черт, козел  
С кольцом рогов над выгнутым загривком.  
На кладбище гарпунщиков ходить:  
Копье вбивая в плоть левиафана,  
Они в жиру кишок секрет искали —  
Энергия, остыв, волной вскипала.  
Распутывать загадки докторов  
Алхимии: они почти достигли  
Разгадки, то есть власти, и исчезли  
Без рук, без глаз, да и без эликсира.  
Тут солнце. Тот же, кто поверил с детства,  
Что акт и действие понять довольно  
И повторяемость вещей порвется, —  
Унижен и в чужой сгнивает коже.  
Ошеломленный бабочкою яркой,  
Он чужд искусству, безъязык, бесформен.

Я вёсла обернул, чтоб не скрипели  
В уключинах. А от Скалистых Гор,  
Небраски и Невады шли потемки,  
Заглатывая лес материка.  
Отражены предгрозовые тучи,  
Пролеты цапли, и торфяник топкий,  
И черный сухостой. За лодкой следом  
Вновь строила утопия мошки  
Сияющие своды. Погружалась  
Тень лилии под борт, прошелестев.

Чем ближе ночь, тем пепельней тона.  
Играйте, музыканты, но не громче,  
Чем ход часов. Я жду своей минуты.  
Моя столица на бобровых гонах.  
Вся в бороздах озерная вода,  
Ее вспахал чернильный месяц зверя,

Взошедший ввысь из пузырьков метана.  
Нематерьяльным быть мне не дано.  
Мне не глядеть таким бесплотным взглядом.  
И мой звериный дух гудит сиреной,  
Сияет радугою, спугивает зверя.  
Плеснулось эхо.

Но остался я  
В высокой, мягкой бархатной укладке  
И властвую над тем, что захватил:  
Над шлепаньем четверопалых лап,  
Над отряханьем шубки в коридоре.  
Не знает он ни времени, ни смерти,  
Я – выше: я-то знаю, что умру.  
Я помню всё: ту базельскую свадьбу.  
Струна виолы вздрагивает. Фрукты  
На серебре. И опрокинут кубок  
На шестерых, как принято в Савойе,  
Вином текущий. Язычки свечей  
Неверны, шатки в дуновеньи с Рейна.  
С белеющими косточками пальцы  
Запутывались в петлях и крючках.  
Упало платье шелковой скорлупкой  
С ядреного литого живота.  
На шее цепь звенела вне эпохи,  
В колодцах, где со ржою завещаний  
Рыжь кесарей сплелась и птичий крик.

А может, это за семью морями  
Одна любовь моя. Навязчивой идеей  
Нечистой закрыт туда мне доступ.  
А ставень и собаки на снегу,  
Свист паровоза и сова на ели  
Исчезнут из припоминаний ложных,  
И вымолвит трава: да было ль это?

Плеснет бобер в ночи американской,  
И вот уж память больше целой жизни.  
Еще звенит луженая тарелка  
На выщербленном каменном полу.  
Таис, Белинда, юная Джульетта  
Шерстистое под лентой прячут лоно.

Принцессам – вечный сон под тамариском.  
В их крашенные веки бил самум,  
Пока не свили тело кушаками,  
Пока пшеница в склепе не уснула,  
Не смолкли камни и осталась жалость.

Вечор шоссе змея перебегала.  
Вилась, помята шиной, на асфальте.  
А мы – мы и змея, и колесо.  
Два измеренья есть. Тут, на границе  
Не-жизни с жизнью, правда существа  
Непостижимая. Сошлись прямые.  
Два времени над временем скрестились.

Без языка, без формы ужаснется  
Он перед бабочкою – он, непостижимый.  
Что бабочка, оставшись без Джульетты?  
И что Джульетта без ее пыльцы  
На животе литом, в глазах и косах?  
Ты скажешь – царство? Мы в него не входим,  
Хоть и не можем выйти из него.

Надолго ли еще достанет мне  
Абсурда польского с поэзией аффектов,  
Не полностью вмняемой? Хотел бы  
Я не поэзии, но дикции иной.  
Одна она даст выражение новой  
Чувствительности, что спасла бы нас  
И от закона, что не наш закон,  
И от необходимости не нашей,  
Хотя б ее мы нашей называли.

Из лат разбитых, из глазниц пустых,  
Приказом времени обратно взятых  
В распоряжение плесени и гнили,  
Растет надежда: воедино слить  
Бобровый мех и камышовый запах,  
Ладонь, что опрокидывает кубок,  
Вином текущий. И к чему же крики,  
Что историчность суть уничтожает,  
Когда она-то и дана нам, Муза  
Седого Геродота, как оружие  
И инструмент? Хоть не всегда легко  
Использовать ее и так усилить,  
Что снова, словно золото в свинце,  
Она послужит людям во спасенье.  
Так размышляя, в центре континента  
Я греб во тьме сквозь вязкую осоку,  
Воображая оба океана  
И качку фонарей сторожевых  
Судов и зная, что не только я  
Нашел зерно неназванного завтра.  
И в такт тогда слагался вызов, чуждый  
Для шелестящей шелковой ночнянки:

О Общество, о Город, о Столица!  
Растворенным зияя дымным чревом,  
Ты не накормишь нас своим напевом.  
Чем ты была, тому не воротиться.

Ты слишком предалась самодержавью  
Бетона, стали, пакта и закона.  
Ты нам была пример и оборона.  
Для нас росла и в славе, и в бесславьи.

Где оказался наш союз разорван?  
В огнях войны, во вспышках звезд падучих  
Иль в сумерки, в пустыне рельсов, в тучах,  
Когда бежали башни с горизонтом.

И хмуро вглядывалось в отраженье  
Лицо девичье узкое, и чётко  
Был ленты взмах над чащей папилюток  
В окне, под паровозное круженье?

Твоя стена – теней стеною стала.  
Твой свет угас. Не монумент надменный  
Под солнцем изменившейся вселенной,  
Но наших рук создание устояло.

Сквозь ширмы, занавески, позолоту,  
Прорвав портреты, зеркала и стены,  
Выходит человек, нагой и смертный,  
Готовый к правде, к речи и к полету.  
Приказывай, Республика. До слёз  
Испробуй все свое очарованье.  
Но он идет, как стрелка часовая.  
И смерть твою уже с собой принес.

Я шел по лесу, вёсла на плече.  
Мне вслед зафыркал дикобраз из сучьев.  
Присутствовал и филин, мой знакомый,  
Эпохе неподвластный и пространству,  
Всё тот же самый Вубо из Линнея.

Америка моя – в мехах енота,  
С его глазами в черных ободках.  
Бурундучком в валежнике мелькает,  
Где повитель над черною землею  
Свила лириодендрона стволы.  
Ее крыло – окраски кардинала.  
Клюв приоткрытый – как из-под куста  
Шипит, в парú купаясь, пересмешник.  
Стеблистость мокасиновой змеи,

Переправляющейся через реку.  
Она гремучкой под цветами юкки  
Совьется в грудку крапинок и пятен.

Америка мне стала продолженьем  
Преданий детства о глубинах чаши,  
Повествовавшихся под пенье прялки.  
И, заводя square-dance'а хоровод,  
Играют скрипки, как в Литве играли.  
Моя танцовщица – Бируте Свенсон,  
Из Ковно родом, замужем за шведом.  
И тут ночная бабочка на свет  
Влетает, в две ладони шириною  
И глянцево-прозрачно-изумрудна.  
А почему бы нам не поселиться  
В природе, пламенистой, как неон?  
Не задает ли нам работы осень,  
Зима, весна и мучающее лето?  
Нам не расскажут воды Делаваара  
Ни о дворе блестящем Сигизмунда,  
Ни об «Отъезде греческих послов».<sup>24</sup>  
И, не разрезан, Геродот пылится.  
И только роза, символ сексуальный,  
Она же символ неземной любви,  
Откроет неизведанные бездны.  
О ней-то мы во сне напев услышим:

В глубинах розы есть дома златые,  
Ручьи льдяные, черные протоки.  
Персты рассвета на вершинах Альп,  
А вечер с пальм стекает на заливы.  
А если кто умрет в глубинах розы,  
То вереница всемох плащей  
Дорогой пурпурной несет его с горы,  
Дымятся факелы в пещерах лепестков,  
И будет он схоронен в недоступной  
Завязи цвета, у истока вздоха,  
В глубинах розы.

Пусть месяцев названья то и значат,  
Что значат. Да ни в коем залп «Авроры»  
Не длится. И ночной бросок хорунжих<sup>25</sup>  
Ни одного не заразит. На память  
Пускай хранится, как в шкатулке веер.  
И почему бы на столе дощатом

---

<sup>24</sup> «Отъезд греческих послов» – трагедия Яна Кохановского.

<sup>25</sup> Восстание 1830 (в польской традиции «ноябрьское восстание», как восстание 1863 – «январское») началось с вооруженного выступления группы штатских заговорщиков и «подхорунжих» – учащихся офицерской школы.

Нам не писать по-старосветски оды  
И славить звездный календарь, сгоняя  
Жука с бумаги кончиком пера?

## Ода

О октябрь!  
Ты мое истинное наслаждение.  
О месяц клюквы и кленов багряных,  
Гусей, летящих в воздухе чистом с Гудзонова залива,  
Сохнущей повилики и увядающих трав.  
О октябрь.

О октябрь!  
В тебе живет тишина дорог, устланных хвоей,  
И причитанья собак, напавших на след.  
И в тебе же игра на пищалке из совиного крылышка  
И трепыханье птицы, еще не упавшей в бор.  
О октябрь.

О октябрь!  
Ты инеем белым сверкаешь на шпагах,  
Когда за Вест-Пойнтом, с поросшей выюнком скалы  
Польский артиллерист<sup>26</sup> зрит многоцветную чащу  
И кафтаны кленовые английских солдат,  
Пробирающихся по тропе Аппалачей.  
О октябрь.

О октябрь!  
Холодно твое хрустальное вино.  
Терпок вкус твоих губ под рябиновым ожерельем.  
На твоих задыхающихся боках  
Пепельная шкура горного оленя.  
О октябрь.

О октябрь!  
Росою осыпающий ржавые следы,  
В буйволоный рог трубящий над привалом повстанцев,  
Босую стопу обжигающий на покато́й меже,  
Где клубится картофельный и пушечный дым.  
О октябрь.  
О октябрь!  
Ты пора поэзии, то есть полной решимости  
В любое мгновение жизнь начать сначала.  
Ты даешь мне волшебное кольцо, и, повернуто,

---

<sup>26</sup> Тадеуш Костюшко, участвовавший в американской Войне за независимость.

Оно светит вниз никому не видимым бриллиантом свободы.  
О октябрь.

Нам многое, да, многое припомнят.  
Отвергли мы спокойствие молчанья,  
Достойных уваженья размышлений  
О мировых структурах. Вечной теме  
И чистоте мы были неверны.  
И хуже – пыль событий и имен  
Мы что ни день словами ворошили,  
Тревожась мало, что она угаснет  
Мильоном искр, и вместе с нею мы.  
Даже бесславье, принятое нами,  
Как будто было умысла не чуждо,  
И нехотя, но мы платили цену.

Когда себя ты знаешь – признаёшься,  
Что был как тот, кто слышит голоса,  
Не разбирая слов. Отсюда злость,  
Подошва, выжимающая скорость,  
Как будто можно от галлюцинаций  
Бежать. Свою незримую веревку  
Влачили мы, гарпун спиною чуя.

И всё же обвинители ошиблись,  
Печальники о зле эпохи нашей,  
Принявши нас за ангелов, что в бездну  
Низвергнуты и там, из этой бездны,  
Грозятся кулаком делам Господним.  
Да, многие сошли на нет бесславно,  
Открывши относительность и время,  
Как химию неграмотный открыл бы.  
Другим – одна обкатанная галька,  
Подобранная около реки,  
Дала урок. Достаточно мгновенья,  
Набухших кровью окуньковых жабр,  
Пропаханной бобровой борозды  
По спящей тоне, под безлунным небом.

Ведь созерцанье без отпора гаснет —  
Его и сам отвергнет созерцатель.  
А мы – наверно, были мы счастливей,  
Чем те, кто в Шопенгауэра книгах  
Печали черпал, слушая в мансарде  
Назойливые отзвуки шантана.  
И философия, поэзия, деянье  
Нам не были, как им, разделены,  
В одну сливаясь – волю? иль неволю?  
Подчас горька, а все-таки награда.

Пусть, заблудясь, в истории застряв,  
Не обречем венца и вечной славы.  
Ну так и что? У них и мавзолей,  
И памятники, но в осенний дождик  
Для юной пары под одним плащом  
Их совершенство ничего не значит.  
А слово, что останется, – осталось  
Воспоминая приоткрытых губ:  
Хотели вымолвить, да не успели.

О духи воздуха, огня, воды,  
Пребудьте с нами, но не слишком близко.  
Винт корабля от вас уж отделился.  
Проходим зону чайки и дельфина.  
И ожиданье, что Нептун с трезубцем  
И nereидами всплывет из пены,  
Напрасным было. Только океан  
Кипит и повторяет: тщетно, тщетно.  
Тщета могущественна. Ей противясь,  
Мы размышляем о костях корсаров,  
О губернаторских бровях атласных,  
Что краб прогрыз, до мяса добираясь.  
Уж лучше крепко в поручни вцепиться  
И в тяжком духе мыла, краски, лака  
Найти подмогу. В скрежете заклепок  
Плывут безумье наше и неясность,  
И вера тайная, и тайный грех,  
И лица павших вдалеке от дома.  
На остров счастья? Нет. Ни я, ни ты  
Не внемлем строк Горация за вихрем.  
С изрезанной, скрипучей школьной парты  
Нас в пустоте соленой не нагонит:

I am Cytherea choros ducit Venus imminente luna!

1956, Бри-Конт-Робер

*Читатель заметит, что в сравнении с числом упоминаемых в «Поэтическом трактате» имен и реалий примечания не исчерпывающи. Задача комментария – разъяснить главным образом те места, где понимание текста русским читателем – без дополнительных сведений – осталось бы заведомо обедненным или неясным. В задачу переводчика не входило ни дать полный академический комментарий, ни разъяснять, почему Милош так, а не иначе оценивает лица и события (ни, тем более, толковать историософские и натурфилософские концепции «Трактата»).*

*Переводчик благодарен автору, внимательнейшим образом прочитавшему перевод и сделавшему целый ряд ценнейших замечаний, а затем нашедшему время обсудить со мной внесенные поправки. Переводчик также благодарит своих польских и русских друзей: Владимира Аллоя, Александра Бондарева, Станислава Баранчака, Иосифа Бродского, Ренату Горчин-*



*скую, Генрика Гринберга, Наташу Дюжеву, Якуба Карпинского, Ирену Лясоту, Владимира Максимова, Хелену Шмунес, – которые были первыми читателями или слушателями поочередных вариантов бесконечно перерабатывавшегося перевода, – за советы и замечания. И Мирослава Хоецкого, поддержка которого была решающей на трудной стадии, предшествовавшей изданию.*

(1982)

## Приложения

### «Речь – Отчизна...»

#### Интервью в связи с выходом в свет русского перевода поэмы Чеслава Милоша «Поэтический трактат»

– Мы публикуем в этом номере газеты отрывки из поэмы Чеслава Милоша «Поэтический трактат». Не могли бы вы прежде всего дать для наших читателей общую характеристику поэмы?

– Я думаю, что характеристику «Трактата» следует начать с его композиции. Его четыре части – после краткого основополагающего вступления – это как бы четыре концентрические окружности, из которых каждая следующая шире предыдущей. Первая часть, «Прекрасная эпоха», – это «крохотный Краков», австрийская Галиция, манерная младопольская поэзия: «...тайное волнение / И легкий вздох, укрытый в многоточьях». Это времена накануне Первой мировой войны, когда, по выражению Ахматовой, лишь «приближался не легендарный, настоящий двадцатый век». Вторая часть, «Столица», – Варшава, независимая Польша, славное и противоречивое в истории как Польша, так и ее поэзии «межвоенное двадцатилетие»; история раздвигается, набирает масштабность. Третья, «Дух истории», – уже в высшей степени «настоящий двадцатый век». Историко-хронологически – это Польша времен Второй мировой войны и гитлеровской оккупации. Историко-литературно – это главным образом возврат к Мицкевичу (как всегда в тяжкие минуты возвращаешься мыслью к вершинам национальной культуры, чтобы и опираться на них, и отвергать, опровергать их). Но, может быть, главный аспект этой части – значительно более широкий, историософский: спор с Духом Истории, с торжествующей гегелевской диалектикой. И, наконец, четвертая часть – «Природа», заглавие, казалось бы, говорит само за себя: мы ожидаем бегства в природу от истории, но находим иное – встречу, сложный сплав природы и истории в человеке, который живет на рубеже обоих миров, принадлежит им обоим. «Ты скажешь – царство? Мы в него не входим, / Хоть и не можем выйти из него», – говорит Милош о животном царстве, о «саде природы». Призывая на помощь «историчность», «музу седого Геродота», он одновременно взывает к возможности (скорее, мечте) поселиться «в природе, пламенистой, как неон», где, «не разрезан, Геродот пылится». Историософия, которая в третьей части была скорее лишь спором, ожесточенным и почти безнадежным, с представлением о свободе как «осознанной необходимости», здесь, обвенчавшись с натурфилософией, не победив ее, но и не уступив, находит свою полноту. Но, прошу прощения, я, кажется, занялась ровно тем, чего не хотела делать в своих примечаниях к переводу.

– Действительно в книге, после восьми страниц довольно подробных примечаний, вы, в частности, пишете: «В задачу переводчика не входило ни дать полный академический комментарий, ни разъяснять, почему Милош так, а не иначе оценивает лица и события (ни, тем более, толковать историофилософские и натурфилософские концепции «Трактата»)». Чему же в таком случае вы посвятили эти восемь страниц?

– А вы думаете, восемь страниц – это много? На самом деле полагалось бы дать краткие сведения, хоть даты жизни, о каждом из упоминаемых в «Трактате» поэтов. Я же остановилась на самом-самом минимуме. В одних случаях я считала, что русский читатель знает имена таких поэтов, как, скажем, Стафф и Лесьмян, Броневский и Галчинский. В других – что даты жизни ничего не прибавят и пусть читатель узнает о неизвестном ему польском поэте ровно столько, сколько сказал о нем Милош. В некоторых случаях комментарии были необходимы.

Если, например, имена Тувима, Ивашкевича и Слонимского русскому читателю так или иначе известны, то о группе «Скамандр» в целом, куда входили также поэты, ставшие после войны эмигрантами, он знает мало или ничего. Это о «скамандритах», и поныне олицетворяющих для русского читателя всю польскую поэзию межвоенного двадцатилетия, Милош говорит: «Такой плеяды не было вовеки, / Но в речи их поблескивала порча...» Конечно, мне пришлось чуть подробнее сказать о Юзефе Чеховиче, ибо этот поэт, самый близкий автору поэмы и, возможно, самый прекрасный польский поэт 30-х годов, в России практически неизвестен. Или о Владиславе Себыле, мало известном и у себя на родине, где долго не решались переиздавать поэта, погибшего от пули НКВД в Катынском лесу. А в третьей части надо было выловить все рассыпанные по тексту цитаты из Мицкевича, найти их более или менее «канонические» переводы или перевести заново и указать, откуда они взяты, из какого контекста, ясного для поляков, но вовсе не очевидного для русского читателя.

– *Вернемся к поэме и к переводу. Как мы знаем из объявления о вашем вечере, русский перевод «Поэтического трактата» – это вообще первый перевод поэмы на иностранный язык. Между тем, стихи Милоша много переводились – и на английский, и на французский, и на другие языки. В чем тут дело?*

– Я думаю, что тому есть две причины. «Трактат» написан давно, в 56-м году. В тот момент поэзия эмигранта с Востока, беженца от коммунизма, одним словом – «отщепенца», не слишком притягивала переводчиков. Позднее же, когда Милоша принялись переводить, выбирали прежде всего, разумеется, более поздние вещи. Те же, кто в конце концов взялся представить полный образ поэта, включая его раннее творчество начиная от довоенных стихов, те, вероятно (тут начинает действовать вторая причина), останавливались перед трудностями перевода «Поэтического трактата». Поэма настолько плотно «набита» содержательностью всякого рода: реалиями, оценками, размышлениями, – что переводчик, видимо, чувствует необходимость чрезвычайных затрат времени и сил на то, чтобы всё осмыслить, обдумать, осознать. Возможно, это отпугивает. Сейчас, правда, насколько я знаю, в Америке готовится перевод «Трактата» на английский – под присмотром автора, и, если я не ошибаюсь, Кот Еленский, постоянный переводчик Милоша на французский, также готовит перевод поэмы. Пока же, как это ни парадоксально, мой перевод может оказаться временной заменой для тех иностранцев, которые не читают по-польски, но владеют русским.

– *А вы, значит, всё осмыслили, обдумали, осознали?*

– Нет. Думаю, что, примись я первоначально за труд осмысления, я, наверное, и застряла бы на этом этапе. Я просто взялась переводить, полупонимая, что я делаю и на что решилась. Это была отвага, граничащая с наглостью и легкомыслием. Я «осмысляла» в ходе перевода. При этом происходили странные вещи. Каждый знает, что стихотворный переводчик всегда вынужден – ради «благозвучия», то есть ради передачи фактуры оригинала, – что-то менять в смысловых деталях текста: опускать, присочинять. Первый вариант перевода вышел у меня невероятно хромым – в нем лишь просвечивал намек на гениальную поэму. Первые слушатели и читатели ощутили, однако, и этот намек и поддержали меня, одновременно указав мне ряд неловких мест (я их потом нашла куда больше). Без такой поддержки у меня, наверно, опустились бы руки и я бы все бросила. Я принялась переделывать. Содержательное богатство Милоша не вмещалось в мои хромящие ямбы – русский текст был и беднее, и корявее оригинала. Тогда я поставила себе только одну, чисто техническую задачу: привести в порядок ямб. Чтобы не было лишних слогов, провисающих посреди строки. Чтобы стихи звучали стихами, а не ковыляющими виршами. Вот тут-то и начали твориться чудеса: каждый раз, как я поправляла строку «ради благозвучия», строка сама возвращалась от опущенного и присочиненного мною – к тому, что было у Милоша в оригинале.

– *На своем недавнем вечере вы сказали, что считаете удачу своего перевода как бы чудом, подарком судьбы...*

– Отчасти – да. Я, в общем, не очень люблю переводить стихи – я люблю переводить прозу. Перевод стихов для меня всегда труд несколько мозольный. А тут хоть труда вложено и много, но сам труд был постоянной немислимой радостью. Первый вариант я делала ночами, вместо того чтобы лечь или заняться чем-то более срочным (работы у меня всегда по горло). Ночами, почти до утра, и не могла оторваться. Отрывалась, когда какое-то место «заколдобило», ложилась и не могла уснуть, всё крутила в голове строчки, которые не выходили, и вскакивала вновь записать, когда что-то выходило. И потом, много месяцев внося поправки, я с наслаждением, почти со стороны, смотрела, как строка сама выправляется, распрямляется, становится стройной, как милошевский стих начинает звучать по-русски. Моя заслуга – лишь тот первоначальный импульс, который загнал меня за машинку и рядом с машинкой положил раскрытый на «Трактате» том Милоша, а уж дальше всё пошло-поехало само.

– *Говорят, автор доволен переводом?*

– Да, хотя я еще не знаю его реакции на самый-самый окончательный текст. В июне прошлого года, когда он возвращался из своей триумфальной поездки в Польшу и заехал в Париж отпраздновать свое 70-летие, я вручила ему перевод. Это был один из промежуточных вариантов – третий или четвертый. Он прислал мне его с многочисленными пометками и замечаниями, но тогда же, еще до внесения поправок, уже показывал его в Америке своим студентам-славистам: вот-де как надо переводить. Затем мы встретились осенью в Гарварде. Я показала ему все переделанные места, даже объяснила, в чем я с некоторыми его замечаниями не согласна, и сказала, что перевод частично уже просмотрен Бродским. Мы еще раз просмотрели вместе ту часть текста, которую не успел прочитать Бродский, ибо то, что он успел, Милош решил даже не смотреть, заявив, что Иосифу он доверяет полностью. В общем, затем мне оставалось лишь получить остаток замечаний от Бродского. Их было не так много (новых, последних поправок я внесла больше), и при их посылке Иосиф написал: «Чеславу повезло. Тебе – тоже». Ну я не знаю, как Чеславу, а что мне повезло – это точно.

– *Будем надеяться, что прежде всего повезло русским любителям поэзии. Равно на родине и в эмиграции, ибо для поэзии, по выражению Милоша, «только речь – отчизна».*

## Не трактат, а трактат в стихах...

...дьявольская разница, неправда ли? Перечитав давнее интервью, сама удивляюсь, почему это я употребляла термин «поэма». По инерции, наверное: длинное и в стихах – значит, поэма. «Трактат» – конечно, не поэма, но и не просто трактат. Одним словом, см. заголовок.

Впервые я прочла «Поэтический трактат» (а есть еще и «Моральный трактат», блестяще переведенный И.Калугиным и напечатанный в книге: Чеслав Милош. «Так мало» и другие стихотворения. М., «Вахазар», 1993), так вот, впервые я его прочла в томе избранных стихов Милоша, который получила в подарок еще в Москве. Прислал мне этот том – с надписью автора: «Коллеге Горбаневской дружески. 20.11.1973. Чеслав Милош» – приятель, женившийся на американке и приземлившийся в Калифорнийском университете в Беркли, где преподавал Милош. Это был, конечно, царский подарок. И, помню, я читала-читала увлеченно и... запнулась на «Трактате», подумала: «Как бы мне хотелось это перевести», – и сама себе горестно вздохнула: не перевести. (С этого же тома я, кстати, и переводила «Трактат»: чудом увезла книгу с собой в эмиграцию, и сейчас она у меня стоит с целой батареей других книг Милоша.)

С самим Милошем я познакомилась, разумеется, только в Париже, мы сразу расположились друг к другу, он и по сей день ужасно любит говорить со мной по-русски, даже когда я обращаюсь к нему по-польски. Но как на «предмет» потенциального перевода я на него не смотрела: с Москвы застряло во мне это «не перевести». Помогла, стыдно признаться, Нобелевская премия. Никита Струве попросил перевести несколько стихотворений для «Вестника

РХД», и мой собственный главный редактор Владимир Емельянович Максимов потребовал от меня Милоша для «Континента». Пожалуй, не стихи в «Вестнике» (довольно обычные верлибры), а именно «Особая тетрадь: Звезда Полян», только что тогда опубликованная по-польски в парижской «Культуре», стала для меня тем трамплином, взяв который я и подумала: а может, теперь и «Трактат» одолею?

Что такое «Особая тетрадь: Звезда Полян»? Вот опять вопрос жанра: «поэма»? Может, и поэма, но зато не «в стихах». По крайней мере, не в том, что мы, русские, воспитанные на метре и рифме, привыкли считать стихами. И даже не в том, что привыкли считать стихами народы (включая поляков), в последние этак девяносто лет усердно воспитывающиеся на верлибре. Кроме заключающего поэму «добротного» стихотворения, написанного рифмованными четверостишиями, остальные части «Особой тетради» – скорее «стихотворения в прозе» (плюс верлибры и белые стихи), только, разумеется, не в единственной знаменитой у нас приторной тургеневской традиции. В них есть свой ритм, летящий, бегущий, задышающийся, который мне, кажется, удалось передать.

Жанр – вообще очень темный вопрос в поздней поэзии Милоша. В последние лет двадцать ему нередко случается то перемежать стихи и отрывки исторических документов – иногда на том древне-белорусском языке, который был языком Великого Княжества Литовского и который, замечу, нам, русским, легче понять, чем соотечественникам поэта; то стихи и переводы, скорее переложения, американских или восточных поэтов, то опять-таки стихи и... Нет, не скажу прозу: прозу Милоша, и художественную, и эссеистику, в которой он особенно блистателен, я знаю хорошо, переводила немало, и разницу чувствую, потому что переводится совсем по-другому. Поверьте, что вообще в любой текст переводчик вникает глубже всякого читателя: видит и слабости (говорю не о Милоше), которые порой надо затушевывать, а порой оставить в неприкосновенности, и акценты, которые надо не потерять при переводе, и ритм... Да, конечно, у прозы есть свой ритм, свой тип ритмико-синтаксических конструкций, но не тот, не тот, что в стихах, будь они верлибры или «стихи в прозе».

Не помню где, давно уже Милош писал, что в молодости он отталкивался от русской поэзии, противился ее влиянию, весьма тогда сильному в Польше: чересчур завораживала она своей мелодикой, как будто обманывала. (Так в нашей юности одна моя подруга читала свои стихи по телефону, и слушатель, которому они неожиданно понравились, сказал: «Не может быть. Ты меня голосом обманываешь».) У меня складывается впечатление, что в последние десятилетия странным путем: через верлибры, «стихи в прозе», перемешивание стихов, документов, переложений и мимолетных заметок – Милош пришел к тому же мелодическому завораживанию, которого когда-то так боялся. И напрасно боялся: оно не обязательно обманывает, и даже чаще всего не обманывает, а, наоборот, торит дорогу к истине, несказуемой «простыми словами».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.